

Новая ЖИЗНЬ Элис



Диана
Симиониди

18+

Диана Симиониди

Новая жизнь Элис

<https://litres.ru/74145538>

SelfPub; 2026

Аннотация

У неё была «нормальная» работа, «нормальный» парень и «нормальный» распорядок дня. Но за этим фасадом благополучия скрывалась пустота. Апатия стала её тенью, а равнодушие — защитным панцирем. Элис не жила — она просто позволяла времени течь сквозь пальцы, не пытаясь удержать ни единого момента.

Всё должно было измениться во время обычного отпуска. Один короткий миг в шумном аэропорту, резкая вспышка боли и темнота... Элис очнулась не на морском побережье, а в совершенно чужой стране, где законы физики и здравого смысла работают иначе.

Неконтролируемое перемещение стало не просто случайностью, а пробуждением...

Содержание

Глава 1	4
Элис	4
Глава 2	18
Элис	18
Глава 3	27
Элис	27
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Диана Симиониди

Новая жизнь Элис

Глава 1

Элис

Рейс задержан на сорок минут.

Я смотрю на табло и жду чего-то — раздражения, наверное. Или хотя бы лёгкого укола досады, который даёт понять, что ты жив и чего-то хочешь. Ничего не приходит. Буквы на табло мигают, переворачиваются, складываются в слово DELAYED, и я просто читаю его, как читают инструкцию к стиральной машине.

Пластиковое кресло давит на копчик, сидеть неудобно, и неудобство это тоже существует само по себе, отдельно от меня, как чужая проблема. Кондиционер над головой гонит воздух прямо в затылок, холодный и сухой, с запахом машинного масла и чего-то, что притворяется чистотой, но ею не является. Из кофейного автомата в двадцати шагах тянет горелым кофе, не тем запахом, от которого хочется чашку, а тем, который остаётся, когда кофе давно уже никто не хотел, но машина всё равно греет.

Терминал живёт своей жизнью. Семья с двумя детьми разворачивает бутерброды прямо на сиденьях, мать режет что-то пластиковым ножом, младший ребёнок немедленно роняет свой кусок на пол, потом поднимает и смотрит на мать с таким лицом, будто именно сейчас решается его судьба. Мужчина в деловом костюме стоит у окна и говорит в телефон одно и то же предложение с небольшими вариациями уже, кажется, минут десять. У стойки напротив кто-то поспорил с сотрудником, и спор идёт вяло, без настоящей злости.

Леон рядом листает что-то в телефоне. Большой палец движется вниз, вниз, вниз — я понимаю его. Я бы и сама листала, но телефон лежит в сумке, и доставать его кажется усилием, которого сейчас нет.

— Слушай, я нашёл ресторан прямо на набережной, — говорит Леон, не отрывая взгляда от экрана. — Называется что-то вроде «Сол э мар». Отзывы хорошие, пишут, что осьминог просто нереальный. Ты же любишь осьминога?

Я люблю осьминога. Или любила. Или это Леон любит, а я просто не возражала — уже не помню, в чем разница.

— Угу, — говорю я.

— И от отеля пешком минут десять, я смотрел по карте. Ну или можно взять скутер, там, говорят, дают напрокат прямо у пляжа. Ты умеешь ездить на скутере?

— Нет.

— Я тоже не умею особо, но там, наверное, несложно. —

Леон наконец поднимает взгляд, улыбается мне. У него хорошая улыбка — открытая, без второго дна. — Научимся.

Я киваю. Слово «научимся» висит между нами, тёплое и совершенно необязательное, и Леон уже возвращается к телефону, читает дальше об осьминоге или о скутерах, или о чём-то ещё, что сложится в наш отпуск, который он придумал, спланировал и забронировал, пока я говорила «да, конечно, хорошая идея» в том же тоне, в котором соглашаюсь на всё.

Он продолжает говорить про отель, про то, что номер с видом на море стоил чуть дороже, но он взял, потому что раз в год можно, про какой-то рынок по воскресеньям, где продают специи и ткани. Голос у него ровный, довольный, голос человека, который умеет радоваться предстоящему. Я слышу его, как слышат радио в соседней комнате: слова различимы, но смысл не задерживается, проходит насквозь.

Леон говорит: — ...и там ещё дайвинг, но я не знаю, захочешь ли ты. Можем просто поваляться.

— Можем, — говорю я.

Я кивнула ещё прежде, чем поняла содержание фразы. Это получилось само, кивок лёг точно в паузу, как надо, как всегда. Когда я научилась этому, я не помню. Это просто умение, которое есть, как умение ходить или дышать, ты не думаешь о нём, пока оно работает.

Ребёнок у соседнего ряда поднял с пола бутерброд и всё-таки съел. Мать не заметила. Я смотрю на табло ещё раз.

DELAYED. Сорок минут превратились в тридцать.

Где-то в районе желудка — не боль, не тревога, что-то другое, без названия. Как будто тело пытается что-то сказать на языке, которого я не учила.

Леон убирает телефон в карман и кладёт свою ладонь поверх моей, просто, тепло и привычно.

— Хорошо, что едем, — говорит он. — Нам нужно было давно куда-нибудь вырваться.

Я смотрю на наши руки. Его ладонь большая, чуть загорелая. Моя рядом — бледнее, тоньше. Выглядит правильно. Выглядит как должно выглядеть.

— Да, — говорю я. — Нужно было.

Ожидание давит на виски, и жгучее чувство в груди медленно убивает мое тело. Появляется желание встать, пошевелиться, побежать, чтобы выгнать из тела что-то инородное, что доставляет мне дискомфорт последние несколько часов.

— Я хочу кофе, — вставая, сказала я, больше из желания уйти подальше отсюда, чем выпить горелый кофе из автомата.

— Я с тобой, — сказал он и уже поднимался.

— Не надо, справлюсь, — сказала я, попытавшись улыбнуться.

Между этими словами была секунда, которую он не заметил. Та секунда, когда я успела почувствовать облегчение раньше, чем успела подумать, что чувствую облегчение.

Тело оказалось честнее головы. Тело уже шло по проходу между рядами пластиковых кресел, лавируя между чужими сумками и выдвинутыми ногами. Очередь к автомату была небольшая. Человека четыре. Я встала в хвост и устоялась в пространстве перед собой — туда, где стояли чемоданы. Потёртый синий, весь в наклейках. Одна была с изображением вулкана и подписью «Reykjavík», белые буквы на чёрном, края уже отслаивались. Рядом с ним детский, ярко-розовый, с единорогом во всю крышку. Единорог был нарисован с выражением бесконечного счастья, как это бывает только на детских вещах и рекламных баннерах. Третий огромный, чёрный, перемотанный скотчем в два слоя. Скотч лежал криво, со складками. Кто-то заматывал в спешке или в первый раз.

Все куда-то летели. Это была банальная мысль, я даже поймала себя на том, что она банальная. Все летят куда-то. Ну и что? Это аэропорт. Но потом пришла другая мысль, потише: все, видимо, хотят туда, куда летят. Хозяин синего чемодана, вероятно, хочет в Рейкьявик. Или уже был в Рейкьявике и везёт оттуда наклейку как доказательство. Ребёнок с единорогом хочет куда угодно, дети хотят всего сразу, это их основная черта. Даже тот, кто мотал скотч в спешке, куда-то очень торопился. Был повод торопиться.

Очередь продвинулась. Я переступила.

Я попыталась вспомнить, когда последний раз чего-то хотела. Не в смысле «было бы неплохо» и не в смысле «навер-

ное, стоит». А просто хотела. Когда желание не надо объяснять самой себе. Я думала минуты две. Может, три. Ничего. Была какая-то книга, года два назад, я хотела её дочитать. Хотела сильно, даже злилась, что надо спать. Но это была книга, не жизнь. И два года назад. Была однажды зима, когда я хотела настоящего снега, а не нью-йоркской грязноватой слякоти. Но снег — это погода. Я не могу засчитать снег. Был... я не помню. Что-то было, наверное.

Подошла моя очередь. Автомат предлагал восемь видов кофе, и у каждого было название, которое звучало как обещание: «Утренний заряд», «Интенсивный эспрессо», «Гармония дня». Я выбрала просто кофе, без названия. Нажала на самую нейтральную кнопку. Аппарат загудел, затем зашипел, и через двадцать секунд выдал картонный стакан с логотипом, который я видела в каждом аэропорту, на каждой заправке, в каждом торговом центре. Коричневый, с двумя волнистыми линиями, которые должны были изображать пар. Или волны. Или обе вещи сразу.

Я взяла стакан. Он был почти неприятно горячий, и я подула на него, хотя знала, что это не поможет. Сделала глоток. Горький. Слишком горячий. Функциональный. Вот именно это слово. Функциональный. Я стояла у автомата, держала стакан двумя руками, потому что он грел пальцы, и думала, что этот кофе точное описание моей жизни. Не плохой. Не хороший. Выполняет то, для чего предназначен: не даёт заснуть, доставляет кофеин, имеет температуру. Его можно

пить. Многие пьют именно такой.

Что-то поднялось в груди. Не тревога, не грусть, что-то без имени, похожее на давление. Как будто изнутри на рёбра. Я ещё раз сделала глоток, но давление не прошло.

Рядом со мной остановилась женщина с ребёнком. Ребёнок был лет пяти и уже тянул мать к автомату, показывал на картинку с горячим шоколадом и говорил: «Вот это, мам, вот это хочу, вот это». Ясно и без объяснений. Вот это. Хочу. Сейчас. Я посмотрела на него на секунду дольше, чем следовало. Потом отвернулась и пошла обратно.

Уже на полпути до меня дошло, что я взяла двастакана, хотя Леон ничего не просил. Он остался досматривать что-то на телефоне, я пошла за своим эспрессо, и на автопилоте взяла ещё один. Американо, без сахара, как он любит. Никакой нежности в этом не было, я поняла это с неприятной ясностью, балансируя горячими стаканами у перехода через проход между рядами кресел. Просто выученный навык. Просто четыре года условного рефлекса.

Он увидел меня ещё издали и поднял руку — жест, который, наверное, должен был означать «вот я, сюда». Как будто я могла его потерять в аэропорту.

— О, — сказал он, и в этом «о» была улыбка. — Ты взяла мне?

— Угу.

Он взял стакан, и его пальцы на секунду накрыли мои. Он не убрал руку сразу, придержал немного, как будто хотел

что-то сказать этим касанием. Я посмотрела вниз. У Леона аккуратные ногти. Я никогда не думала об этом специально, но сейчас, пока его рука лежала на моей, я разглядывала их так, будто видела впервые. Ровно подстрижены, без заусенцев, край чистый. Он стриг их совсем недавно, может, вчера, может, позавчера. Я не видела, как он это делает. За четыре года ни разу не видела.

Он убрал руку. Взял крышку и поковырял её большим пальцем. Она была приклеена с одной стороны, это его всегда раздражало, и он всегда поддевал её именно так, одинаково. Я знала об этом. Я знала много таких вещей.

— Слушай, — сказал он, с видом заговорщика, — вон та женщина с пуделем уже третий раз смотрит на мою сумку.

Я оглянулась. Пожилая дама с крошечной белой собакой и лицом человека, который всю жизнь что-то одобрял и что-то осуждал. Сумка у Леона была старая, студенческая ещё, с оторванной наполовину нашивкой.

— Наверное, думает, что ты её украл, — сказала я.

— Именно такое у неё лицо, да? — он засмеялся. — «Этот молодой человек явно украл чужую сумку».

Я засмеялась тоже, а потом заметила, что смеюсь. Это было странно. Не смех был странным, смех был нормальным, вполне настоящим по звуку. Но внутри что-то чуть сдвинулось, как бывает, когда идёшь и вдруг понимаешь, что идёшь, и на долю секунды забываешь, как именно это делается. Я смеялась, потому что он был смешной. Или потому

что так полагалось. Или потому что за четыре года я выучила, когда смеяться, и это тоже стало рефлексом, как американо без сахара.

Леон смотрел на даму с пуделем с довольным видом. Он умеет замечать людей в аэропорту, придумывать им истории, строить гипотезы. Это у него с детства, он рассказывал. Меня это никогда не интересовало, но я всегда слушала, с первого курса. Нам было по восемнадцать. Мы оказались на одном семинаре, он занял место рядом, потому что больше не было мест. Потом мы пошли пить кофе, потому что все пошли. Потом ещё раз, но уже вдвоём. Четыре года. Я не могла вспомнить момент, когда приняла решение. Не могла вспомнить, думала ли вообще что-то вроде «да, я хочу, чтобы это был он». Может, думала. Может, было что-то такое в самом начале, когда он привёз мне суп, когда я болела, и сел рядом читать. Он не разговаривал, просто сидел, и мне было тогда хорошо. Но хорошо это не то же самое, что решение. Квартиру мы сняли потому что так получалось дешевле. Работу я нашла потому что надо было работать. Этот отпуск потому что он предложил, а у меня не было причин отказывать.

Мне стало немного душно. Не от воздуха — кондиционер в зале гудел исправно, холодный почти до раздражения. Просто изнутри.

Я сделала глоток эспрессо. Слишком горячий, обжёт небо. — Эй, — Леон повернулся ко мне. — О чём думаешь? Я посмотрела на него. У него хорошее лицо, открытое, без

скрытых умыслов. Он всегда такой: что думает, то и на лице. Я никогда не умела так.

— Ни о чём, — сказала я.

Это было правдой. Именно это и было страшно, что это была чистая, ничем не замутнённая правда. Не «я думаю о нас» и не «я думаю о том, люблю ли тебя». Просто ни о чём. Белый шум. Гул кондиционера и слишком горячий кофе и его аккуратные ногти, которые он стриг, пока меня не было рядом. Он кивнул, принял ответ, как принимал всегда. Не лез. Это тоже было частью него, и я всегда считала это хорошим качеством.

Объявили посадку на какой-то рейс, не наш. Несколько человек поднялись с мест, зашуршали пакетами, потянулись к выходу. Дама с пуделем тоже встала, и пудель немедленно решил, что это повод для паники, и захлебнулся лаем.

Леон ушёл искать туалет, сказал «я быстро» и растворился в толпе. Я осталась с двумя рюкзаками и пластиковым стаканом кофе, который уже понемногу остывал. Терминал В гудел равномерно, как трансформаторная будка: объявления по громкой связи, колёса чемоданов по плитке, чей-то телефон с невыключенной музыкой. Запах здесь был отдельным существом — жареное из фастфудного киоска, чужой парфюм, что-то синтетическое от ковровых вставок, которые явно не чистили с прошлого лета.

Я поставила кофе на колени и стала смотреть. Женщина прямо напротив держала на руках ребёнка месяцев восемь,

может, девять, в оранжевом комбинезоне с ушками. Ребёнок тянулся к серёжке у неё в ухе в виде большого металлического кольца, которое раскачивалось при каждом движении. Женщина что-то говорила ему, не слова, просто звуки, и смеялась, когда он почти доставал, и отворачивала голову, и снова поворачивала, и снова смеялась. Они играли в эту игру уже минуты три. Ребёнок каждый раз выглядел так, будто серёжка — главное, что есть во вселенной.

На противоположной стороне зала сидел старик, у окна, чуть в стороне от всех. Руки сложены на колене, голова слегка наклонена. Он смотрел на взлётную полосу, или сквозь неё, непонятно. Лицо у него было такое, какое бывает, когда человек не притворяется, что думает о чём-то важном. Просто сидит. Просто смотрит. Мне подумалось, что, может быть, ему всё равно, куда летит, лишь бы двигаться, лишь бы иметь повод сидеть здесь и ни с кем не разговаривать. Или, может, я просто придумываю себе компанию.

У всех этих людей было что-то, что тянуло их вперёд. Серёжка. Окно с видом на полосу. Даже если это мелко и не героически, всё равно тянуло. Я сидела и пыталась нащупать в себе что-нибудь похожее, какой-нибудь вектор. Ничего не находила. Была поездка на море — идея Леона, которую я приняла, потому что не было причин отказываться. Была работа, к которой я вернусь через десять дней. Была квартира с окном во двор-колодец, где росло одно упрямое дерево.

Редакция у нас на восьмом этаже, офис на двенадцать че-

ловек, и я там самая молодая лет на двадцать. Коллеги хорошие в том смысле, что не злые, приносят пончики по пятницам, спрашивают, как дела и принимают «нормально» за ответ. Мне дают рестораны, открытия, городские события. «Пять лучших мест для бранча». «Новый сезон в Метрополитен: чего ждать». Я пишу хорошо, мне так говорят, и я им верю, потому что зачем врать стажёру. Но когда я сдаю текст и закрываю ноутбук, внутри не остаётся ничего, что можно было бы назвать удовлетворением. Остаётся только усталость от того, что я смотрела в экран несколько часов.

Кофе совсем остыл. Я все равно сделала глоток.

Женщина с ребёнком в оранжевом комбинезоне встала, видимо, объявили посадку на их рейс. Ребёнок всё тянул руку куда-то в сторону, уже не к серёжке, а просто — туда, туда, туда. Она прижала его к себе крепче и пошла к выходу.

Леон вернулся с бутылкой воды. Сев рядом, жестом предложил мне. Я отказалась. Затем открыл бутылку, отпил и на несколько секунд задержал взгляд на чем-то поверх моей головы. Потом посмотрел на меня. Не как обычно смотрел. Обычно он смотрел мимо — на табло, на свой телефон, на что угодно, пока я рядом. Сейчас он смотрел именно на меня, и это длилось чуть дольше, чем нужно, чтобы просто убедиться, что я здесь.

— Ты в порядке?

Я обернулась. Он не улыбался, его лицо было спокойным и немного напряжённым, как бывает, когда человек на самом

деле ждёт ответа.

— Да, — сказала я. — Просто устала.

Это была правда в той мере, в которой любая неправда является правдой. Я действительно устала. Я устала от запаха горелого кофе и кондиционированного воздуха, от объявлений на трёх языках, от женщины напротив, которая третий раз перекладывала содержимое сумки. Устала от мысли, что лететь ещё восемь часов. Устала от слова «устала». Леон кивнул. Убрал взгляд и снова вернул его. Вот это я и заметила: он не отпустил.

— Этот отпуск нам нужен, — сказал он.

Не с упрёком. Без нажима. Просто как факт, который он повторял про себя достаточно долго, чтобы произнести вслух. Я подумала: он это не как вывод говорит, он это как надежду говорит. Что море что-то исправит. Что мы приедем и я буду другой. Что солнце, и вода, и завтраки на веранде, и вечером вино и всё встанет на место.

Леон что-то писал в телефоне. Я смотрела на профиль его лица, на прямой нос, на то, как он чуть щурится на яркий экран. Он красивый человек. Это я тоже всегда знала. Красивый и терпеливый.

Зал ожидания гудел вокруг нас ровным, безличным шумом. Чьи-то дети бежали по проходу, мать кричала им вслед, не вставая с кресла. Мужчина в дорогом пальто говорил по телефону по-немецки, быстро и сердито, и жестикулировал левой рукой в пустоту. По стеклянной стене тянулась оче-

редь к стойке регистрации, люди со своими чемоданами и своими планами, куда-то летящие, от чего-то летящие.

Глава 2

Элис

Объявили посадку на наш рейс, и Леон поднял голову, чтобы посмотреть на табло, проверяя. Потом встал, не торопясь, собрал куртку. Взял свою сумку. Взял мою не спросив, просто взял во вторую руку.

— Идём? — спросил он, не оборачиваясь.

— Да, — сказала я.

Я поднялась. Взяла кофе, он был уже холодным. Сделала плоток, поставила стакан на сиденье, которое занимала. Кто-нибудь уберёт.

Мы пошли к выходу на посадку. Леон немного впереди, с двумя сумками, и я за ним, со своей маленькой сумочкой через плечо, в своем пальто, в своём теле, которое шло туда, куда его вели. Коридор был такой длинный, что дальний конец казался немного уже, чем должен. Я смотрела под ноги. Серая плитка, стыки через каждые полметра, чемоданы людей стучали по каждому из них, ровно, без пауз, как будто кто-то отмерял время.

Стук. Стук. Стук.

Флуоресцентные лампы здесь горели немного холоднее,

чем в зале — желтизна уходила, оставался только белый, плоский, без теней. Под таким светом всё выглядит немного мёртвым. Лица как на документальных фото. Мои руки, когда я бросила взгляд, незнакомые почти.

Этот коридор я уже проходила. Именно этот, или такой же, я больше не была уверена. Прошлый декабрь: летели к его родителям, Леон нёс коробку с вином в руках, потому что боялся сдать в багаж. За год до этого другой рейс, другое направление, но тот же стук колёс по стыкам, тот же холодный свет.

Стук. Стук. Стук.

Леон оглянулся. Просто посмотрел назад, чтобы убедиться, что я здесь. Он чуть замедлил шаг, протянул руку не останавливаясь, не делая из этого жеста, просто раскрытая ладонь в пространстве между нами. Я взяла. Ладонь была тёплой. Я знала это ещё до того, как взяла, знала температуру его кожи, знала, что он держит не крепко, но не слабо, знала, что чуть позже, в самолёте, когда погасят свет, он заснёт и рука у него станет тяжелее. Всё это я знала так хорошо, что почти не чувствовала.

Коридор немного сужался. Потолок казался чуть ниже, или это свет менялся. Впереди был рукав, уже тёмный, тесный, с запахом переработанного воздуха и той специфической химией, которая бывает только в самолётах.

Запах стал ближе. Свет немного убыл. Я шла по рукаву, и стены здесь были мягкие — серо-синий пластик с ткане-

вой прослойкой, если потрогать рукой. Леон отпустил мою руку, потому-что нужно было взять сумки двумя. Впереди был небольшой подъём.

И в этом промежутке, пока мы не касались — пять секунд, может шесть — я поймала что-то. Не мысль. Ощущение. Как будто тело чуть повернулось в другую сторону, внутри, без движения снаружи.

Я шла вперёд, делала шаги, слышала, как чемоданы людей шуршат по пластиковому полу рукава. Леон уже почти у двери самолёта. Бортпроводница внутри, я видела край её пиджака.

Я шла, но что-то во мне стояло. Что-то, у чего не было имени и не было лица, просто стояло и смотрело мне вслед. Или в спину. Я не могла повернуться, чтобы проверить.

Леон оборачивается и что-то говорит про море, про то, что вода там в это время года тёплая, или что он слышал, что тёплая, или что в отзывах писали про воду. Я улавливаю слово «вода» и киваю. Интонация у него тёплая, немного предвкушающая. Он правда рад этой поездке. Я смотрю на его лицо и думаю, что рада тоже. Или что должна быть рада. Или что разницы, в общем то, нет.

Справа протискивалась семья: мать с двойной коляской, отец с тремя сумками поперёк плеч и ребёнком лет четырёх, который тащил игрушечного жирафа за одну ногу. Жираф мотался по полу. Ребёнок не замечал. Я отступила на полшага влево, освобождая им проход машинально, не глядя, ещё

думая про жирафа и про то, выживет ли у него шея при таком обращении.

Из-за моей спины слева неожиданно вышел человек. Крупный, тёмная куртка, капюшон чуть набок. Он смотрел в телефон, держа его двумя руками, что-то очень увлеченно листал, и шёл так, как ходят люди, когда привыкли, что толпа расступается перед ними сама. Я увидела его за долю секунды до столкновения. Плечо в плечо, его плечо было выше моего, и удар пришёлся так, что меня развернуло. Нога нашла воздух там, где должен был быть пол, щиколотка подвернулась вправо, и я попыталась поймать равновесие руками, бессмысленно, как будто в воздухе есть за что держаться, и упала.

Затылок нашёл металлическую стойку раньше, чем я успела об этом подумать. Звук был тупой. Не резкий, именно тупой, будто что-то внутри черепа сдвинулось и встало не на свое место. Потом запаздывающая боль, горячая волна от затылка вниз по шее. Потом пол под ладонями, шершавый, в каких-то крошках, с запахом резины и чего-то химического.

Я не кричала. Просто лежала секунду, глядя на чужие ноги вокруг: кроссовки, деловые туфли, сандалии с красными ремешками, снова кроссовки. Гул голосов всё ещё был, он никуда не делся, просто теперь звучал как будто сквозь воду, немного замедленно, и в нём появился какой-то высокий тон, очень тонкий, почти неслышимый, но настойчивый.

— Элис! — Леон был уже рядом — голос резкий, испу-

ганный. — Элис, ты...

Я открыла рот, чтобы сказать что-то разумное, что всё в порядке, что я сейчас встану, что ничего страшного. Слова были. Они просто не успели выйти. Внезапно свет в рукаве, слишком белый и ровный вдруг стал ярче, заполнил всё сразу, и я зажмурилась, и за веками было то же белое, горячее, почти звенящее.

Сначала тишина. Не та тишина, когда все замолкают разом. Звуки аэропорта никуда не делись: чемоданные колёса грохотали по полу, ребёнок где-то верещал про мороженое. Всё это продолжалось. Просто стало дальше. Как будто кто-то между мной и всем остальным поставил толстое стекло.

Я не сразу поняла, что смотрю вверх. Мозг честно пытался выстроить логику: аэропорт, я была стоя, Леон был рядом, кто-то налетел на меня плечом или локтем. Но мое тело уже знало то, чего мозг ещё не признавал: я лежу на полу. Под головой — ничего, только этот же пол, и от него тянуло таким принципиальным равнодушием, какое бывает только у больших общественных поверхностей.

Боль пришла позже, секунды через две или через двадцать, не могу сказать. Тупая, горячая, в основании черепа. Не острая, не та, которая заставляет кричать, а та, которая заставляет замереть, потому что любое движение обещает сделать её громче. Я не кричала. Я просто лежала и позволяла ей пульсировать в такт чему-то внутри. Может быть, сердцу, а может быть, самому полу.

И ещё там, вместе с болью, было что-то другое. Странное. Не боль и не головокружение, но ощущение, что внутри меня что-то сдвинулось. Не физически. Не кости, не мышцы. Что-то меньше или больше обычного тела.

Леон появился сверху. Его лицо крупно, близко, ближе, чем я привыкла его видеть, потому что обычно мы на одном уровне, и я могу отвести взгляд, если хочу. Сейчас не могла. Он что-то говорил. Я видела, как двигаются его губы: слишком быстро для такой тихой внутри меня секунды. Он всегда так, когда нервничал, слова у него начинали обгонять мысли, и он выдавал их целыми очередями, не дожидаясь ответа.

Губы сложились в «Элис». Я прочла по движению. Звук до меня не добрался, или добрался, но в той версии, где всё за стеклом, приглушённое и чуть запоздалое. Он ещё что-то говорил после моего имени, но это я уже не разобрала. Слишком далеко, хотя он был буквально в сантиметрах.

Я подумала, что надо бы ответить. Или хотя бы поднять руку — жест, обозначающий «я здесь, я слышу, не паникуй». Но рука лежала где-то сбоку, и между желанием её поднять и самим движением была пауза, которую я не сумела преодолеть. Как бывает во сне, когда знаешь, что надо бежать, и ноги не слушаются — не потому что парализованы, а просто потому что сон важнее команды.

Внутри было тихо. Никакой паники. Никакого ужаса. Я ожидала, что будет страх, всё-таки я лежу на полу рукава по пути в самолет, у меня, судя по всему, сотрясение, Леон

беззвучно кричит моё имя, вокруг наверняка начинает собираться толпа с телефонами наготове. Это должно было быть страшно. Но пришла мысль, единственная чёткая мысль во всём этом мутном, двоящемся пространстве, и звучала она примерно так: «вот и всё, что ли». Без вопросительного знака, просто констатация. Спокойная, почти скучная, как когда дочитываешь книгу и закрываешь её, и думаешь: «А, ну ладно». Без сожаления. Без облегчения. Просто конец страницы.

Леон продолжал что-то говорить. Пол давил на затылок с той же безразличной последовательностью. Горячая и тупая боль пульсировала. Тело отключилось без предупреждения. Не было ни вспышки боли, ни темноты, которая наступает постепенно. Просто что-то щёлкнуло, как щёлкает крышка ноутбука, когда его закрывают, и всё — экран погас.

Ноги я ещё чувствовала секунду, может две. Они были под каким-то неправильным углом к полу, но это уже не имело значения, потому что пол тоже уходил куда-то вниз, или в сторону, или вообще в другое измерение, я не успела понять. Руки не слушались команд. Я дала им сигнал «держись», «упришись», «поймай хоть что-нибудь», но между командой и рукой образовалась такая пропасть, что сигнал в ней потерялся. Последнее, что я видела чётко — рука Леона. Он тянулся ко мне. Рука вытянута, почти достаёт, длинные пальцы, немного неловкие, как у всех высоких людей, которые всю жизнь цепляют вещи со слишком высоких полок.

Я не помню, когда последний раз видела Леона по-настоящему испуганным. Не встревоженным, не раздражённым, не собранным в то выражение, которое он носит на работе и иногда забывает снять дома, а именно испуганным. Лицо у него было открытое, будто кто-то снял с него стекло, которое обычно там стоит, и под ним оказался просто человек. Растерянный, живой, с по-настоящему испуганными глазами. Я подумала: вот как он выглядел, когда мы только познакомились. Должно быть. Я этого уже не помню.

Потом пространство сделало что-то странное. Не было звука. Не было той киношной вспышки, которую показывают, когда кто-то теряет сознание или умирает, или попадает в другой мир. Ничего такого. Это было скорее ощущение, как будто воздух вокруг меня внезапно решил, что занимает слишком много места, и схлопнулся внутрь себя. А потом развернулся обратно. Но уже изнанкой. Я не знаю, как ещё это описать. Изнанкой, и этим всё сказано.

Аэропорт исчез. Не постепенно, не в тумане, не расплывшись, как бывает перед обмороком, просто исчез. Гул голо-сов, скрип чемоданных колёс по полу, запах горячего хлеба из пекарни у выхода А, который я заметила, когда мы входили, всё это просто перестало существовать. Как будто кто-то нажал «стоп» на записи. И стало темно. Не темно, как в комнате с закрытыми шторами. Темно, как если бы понятие «видеть» временно вышло из употребления, и я не знала, есть ли у меня вообще глаза.

Леон остался там. Я этого не видела, я уже вообще ничего не видела. Но я это знала, как знаешь, что за спиной стена, даже не оборачиваясь. Леон остался там, в аэропорту, с вытянутой рукой и лицом без стекла, я оказалась где-то ещё. Или нигде. Я не думала ни о чём. Не было мыслей конкретных, оформленных, с начатым словом и точкой в конце. Что-то мерцало на той границе, где обычно живут мысли, что-то похожее на «где» и что-то похожее на «стоп» — но до слов не дотягивалось. Только движение. Только темнота.

Я плыла. Или летела. Или просто была где-то в промежутке. Между аэропортом и тем местом, которое ещё не знала.

Глава 3

Элис

Сначала холод. Не мысль об этом, не осознание, просто ладони уже чувствуют его раньше, чем я успеваю открыть глаза. Шершавый бетон, влажный, почти ледяной, как кафель в плохой больнице. Я лежу на нём, и это первое, что я знаю.

Второе: запах. Мокрый асфальт и что-то железное, кисло-ватое — так пахнет старый мост или рельсы после дождя. Этот запах конкретный, с весом, и он добирается до меня раньше, чем открываются глаза.

Третье: небо. Не потолок аэропорта с его молочными панелями — небо. Настоящее, тёмное, с рваными краями облаков на северо-западе, с узкой полосой, где тьма чуть светлее остальной тьмы. Я смотрю на него несколько секунд, просто смотрю, не удивляясь, не задавая вопросов. Мозг пока не включился. Работает только тело: холод под лопатками, влажность, проникшая сквозь пальто, и тупая, горячая боль в основании черепа, знакомая уже, почти своя, как ноющий зуб, к которому привыкаешь на третий день.

Я сажусь. Медленно, как просыпаешься после слишком долгого сна, когда не понимаешь, день или вечер, и само те-

ло двигается через какую-то вязкую неохоту. Двоение в глазах не проходит сразу: фонари над перроном дwoятся, расплываются в жёлтые ореолы, потом медленно собираются в один источник света. Таких фонарей несколько. Они стоят вдоль длинной бетонной полосы, уходящей куда-то в темноту с обеих сторон одинаково, без конца, как будто перрон не заканчивается никогда.

Рельсы справа. Старые, тёмные, блестящие от влаги. Я смотрю на них, и в голове медленно, без спешки, как субтитры с задержкой, появляется мысль: это не Нью-Йорк. Вывески на столбах и на маленьком здании в конце перрона написаны не по-английски. Буквы — латиница, но слова не читаются, не складываются ни во что знакомое. Что-то длинное, с такими значками над буквами, как в учебниках по французскому, только другими. Я смотрю на одну вывеску долго, честно пытаюсь прочесть её, как будто если постараться, поможет. Не помогает.

Ни одного человека на перроне. Ни в одну сторону.

Я машинально опускаю руку в правый карман пальто, где всегда лежит телефон. Пусто. Левый тоже пустой. Я проверяю задние карманы джинсов, хотя никогда ничего туда не кладу, и тоже пусто, конечно.

Нет телефона.

Нет сумки. Она была через плечо, в аэропорту, я помню её вес и то, как лямка врезалась в шею.

Нет документов, потому что документы лежали в сумке.

Нет денег, потому что деньги тоже были там.

Нет наушников, нет зарядки, нет мятной жвачки, которую я купила в дьюти-фри и не успела открыть.

Я сижу на холодном бетоне чужого перрона в незнакомой стране — это очевидно, что незнакомой, это очевидно, что другой континент, потому что воздух не такой, он пахнет иначе, он холоднее и влажнее нью-йоркского сентября. Сижу и перечисляю то, чего у меня нет. Спокойно. Почти методично. Это и есть странное. Не то, что я здесь. Не то, что не знаю, как я здесь оказалась. Не то, что последнее, что я помню — это синяя форма бортпроводницы и затылок, встретившийся с металлом, и Леон, тянущийся ко мне рукой. Странное — это то, что мне не страшно.

Я честно проверяю себя изнутри, как проверяют карманы. Есть ли страх? Паника? Хотя что-нибудь с острыми краями? Ничего. Только эта же самая пустота, которая живёт во мне последние — сколько? — полтора года. Два. Она просто переехала вместе со мной, куда бы я ни попала. Удобная пустота. Портативная. Я думаю: нормальный человек сейчас кричал бы. Или плакал. Или хотя бы бегал по перрону в поисках кого-нибудь живого, способного объяснить, что происходит. Я думаю: наверное, я не нормальный человек. Или просто очень устала быть им.

Боль в затылке пульсирует тупыми, ленивыми толчками, как сигнал с плохим соединением. Я осторожно прикладываю пальцы к основанию черепа и нащупываю горячую при-

пухлость, чуть больше мячика для гольфа. Нажимаю. Больно. Убираю руку. Значит, живая. Это, пожалуй, хорошо.

Я встаю медленно, держась за стену за спиной, которая оказывается холодной и шершавой кирпичной кладкой. Ноги держат. Голова кружится секунды три, потом перрон перестаёт качаться. Жёлтый свет фонарей ложится на рельсы, на облупленные скамейки вдоль стены, на урну с дыркой в боку. Очень обыкновенная урна. Почему-то именно она делает происходящее чуть более реальным, чем всё остальное. Я стою и смотрю на неё.

Где-то вдалеке, может быть, за этими вывесками, за этой темнотой лает собака. Один раз, два, и замолкает. Потом тишина становится такой плотной, что я слышу собственное дыхание. Выдох паром в холодном воздухе, вдох, снова выдох.

Я засовываю руки в карманы пальто просто чтобы было куда их деть и начинаю идти вдоль перрона. Фонари провожают меня жёлтыми кругами. Рельсы молчат. Бетон под подошвами оказался мокрым, не от дождя, скорее от росы или тумана, который висел низко, почти у земли, и размывал фонарные столбы в молочное. Я поскользнулась на втором шагу, удержалась, но это было неловко и неприятно, и я замедлилась до той осторожной, немного утиной походки, которой ходят на льду люди, ещё не решившие, падать им или нет. Голова всё ещё болела, тупо, как будто кто-то аккуратно положил на затылок кирпич и не убрал.

Справа от перрона начинались деревья. Я их чувствовала раньше, чем увидела: запах сырой листвы и чего-то более тёмного под ней — земли или коры, или той специфической смеси, которую деревья выдают ночью, когда перестают притворяться декорацией. Слева рельсы, уходящие в туман в обоих направлениях, одинаково никуда.

Перрон был коротким. Навес над скамейками, несколько фонарей, пластиковый щит с расписанием, прикрученный к стене здания одноэтажного вокзала, с закрытыми ставнями. На стене над входом вывеска, кириллица или что-то похожее, буквы округлые и незнакомые. Я подошла ближе.

«Sinaia» или что-то в этом роде. Несколько букв я не смогла разобрать в тусклом свете, но это слово показалось мне твёрдым, как топоним. Название места. Я была в каком-то месте с названием. Это должно было помочь. Не помогло. Расписание под стеклом было залеплено в двух углах пожелтевшим скотчем. Я уставилась в него. Цифры оказались читаемыми, буквы нет. Слова «Plecare» и «Sosire» повторялись в заголовках столбцов, и я примерно понимала, что это значит, хотя не могла бы объяснить откуда. Отправление и прибытие, или наоборот. В любом случае последняя строка с отбытием показывала время, которое уже прошло. Следующая — 04:47. Я посмотрела на небо рефлекторно, как будто там было написано, который сейчас час. Там ничего не было написано. Было темно, но не той полной темнотой середины ночи, а немного тронутой, как ткань, которую начали отсти-

рывать от черноты, но бросили на полпути. Четыре часа сорок семь. Где-то между тремя и четырьмя ночи — это моя лучшая версия. Значит, меньше двух часов до поезда. Значит, кончится ночь. Значит, появятся люди. Я держалась за это «значит» как за спасательный круг.

Скамейка под навесом была металлической, с дырками. Я села, сунула руки под мышки — не от страха, а от холода, который окончательно нашёл меня теперь, когда я перестала двигаться. Он был настоящим, этот холод, ощутимым как твёрдое вещество: забирался в рукава, оседал на ключицах, прихватывал кончики ушей. Я подтянула колени, что было жутко неудобно на металлических перегородках, и стала смотреть на восток, туда, где деревья расступались немного и открывался кусок неба над холмом.

Леон сейчас, наверное, разговаривает с охраной аэропорта. Он ищет меня. Он говорит с кем-то официальным голосом, который у него появляется в стрессовых ситуациях — чуть выше и чуть ровнее обычного. Он назовёт мои приметы. Скажет рост, цвет пальто. Может быть, скажет «моя девушка».

Леон был хорошим. Это я знала точно. Я не могла вспомнить ни одного момента, когда мне было с ним плохо. Просто мне не было с ним особенно хорошо тоже. Мы существовали в одном пространстве, как два предмета мебели из разных гарнитуров — функционально, без острых углов, но не совпадая ни по одной линии.

Небо на востоке стало немного светлее. Я не заметила момента, просто в какую-то секунду поняла, что вижу силуэты деревьев там, где раньше была просто темнота. Очертания. Холм над ними пологий, широкий. Я смотрела на него и думала о том, что это, наверное, красиво — в другой жизни, для другого человека. Не для меня сейчас, у которой нет телефона, нет кошелька, нет ни одного понятного слова вокруг и в затылке живёт тупая горячая точка боли, которая пульсирует в такт сердцебиению. Где-то в лесу снова залаяла собака — та же или другая, не разберёшь. Дольше, чем в первый раз. Потом опять тишина, в которой слышно, как капает вода с края навеса на бетон: медленно, неравномерно, без всякой системы. Я сидела и слушала, как капает вода, и ждала людей.

Мужчина появился со стороны путей. Он тащил за собой тележку на двух колёсах, металлическую, с прикрученным к ней ящиком. Скрип был такой, что я услышала его ещё раньше, чем увидела силуэт. Рассвет уже чуть подсветил край неба, но фонари на перроне ещё горели — тусклые, желтоватые, как зубы курильщика.

Я встала. Поняла, что сидела на бетонном полу, прислонившись к стене павильона. Я провела тут, видимо, несколько часов, потому что ноги затекли до плотной, почти деревянной неподвижности.

— Excuse me.

Голос вышел хриловатый. Мужчина лет шестидесяти, в

шерстяной шапке и куртке цвета болотного камня, не замедлил шага. Он посмотрел на меня мельком. Не с подозрением, не с сочувствием, просто зафиксировал присутствие, как фиксируют скамейку или столб.

— Do you speak English? Hablas español?

Испанский я знала приблизительно на уровне меню. Но других языков у меня не было. Мужчина покачал головой и прошёл мимо. Тележка скрипнула на повороте и скрылась за углом. Ладно. Я пошла в сторону улицы.

Город открылся сразу — небольшой, тихий, с той особенной утренней тишиной, которая бывает в местах, где люди встают поздно или просто не торопятся. Брусчатка под ногами была неровная, кое-где просевшая, как будто земля устала её держать. Ставни на большинстве окон закрыты. Кафе с синими жалюзи. Жалюзи опущены до упора, из-под них не пробивался ни один огонь. На одной из вывесок я прочитала что-то вроде «Brutărie» и почему-то вспомнила пары по лингвистике, первый курс, преподаватель с бородой клинышком, который ставил на стол кофе в пластиковом стакане и говорил, что романские языки легче всего опознать по окончаниям. Румынский, кажется, был в той лекции. Кириллицы нет, буквы латинские, но расставлены иначе, чем по-английски, и знаки над ними торчат, как сигналы тревоги.

Румыния. Я произнесла это про себя, просто чтобы проверить, как оно звучит. Не легче. Что я знаю о Румынии? Дракула. Замок Бран, кажется, или другой, я никогда не раз-

биралась. Карпаты — горы. Бухарест — столица. Хорошая лёгкая атлетика, кто-то говорил. Коммунизм и Чаушеску, которого расстреляли под Рождество. Эти знания были сейчас абсолютно бесполезны.

Я завернула за угол и вышла на маленькую площадь. В центре фонтан, каменный, с облупившимся краем чаши. Воды в нём не было, только пожухлые листья на дне и тёмные разводы от дождей. Рядом скамейка с деревянными рейками, одна из которых была сломана и торчала под углом. Я села на целую часть. Металлическая урна стояла тут же, с щелью для монет или талонов, такие бывают в европейских городах, где за мусор надо платить. Или нет? Я не знала. Я вообще плохо знала Европу.

Я сложила руки на коленях и попробовала думать методично. Аэропорт. Леон держал меня за руку. Нет, не держал, я убрала руку, потому что ему нужно было взять сумки в обе руки на небольшом подъеме. Я ударилась затылком о металлическую стойку. Боль была тупая, горячая. Леон тянулся ко мне. А потом — ничего. Не темнота. Не сон. Просто отсутствие, как пропущенная страница в книге, когда история продолжается, но кусок её вырезан. До аэропорта — я. После — тоже я. Но между ними разрыв, и внутри разрыва нет даже воспоминания о воспоминании.

Я не понимала, как сюда попала. Это было единственное, что меня по-настоящему задевало. Не то, что я без денег — это решаемо, в теории. Не то, что не говорю по-румынски —

тоже решаемо. Даже не то, что Леон, наверное, звонит в полицию прямо сейчас, а мой телефон молчит в кармане сумки. Всё это было проблемами. Проблемы можно перечислить и попытаться решить в каком-то порядке. Но вот то, что я не могла объяснить самой себе — это как я оказалась здесь. Это не входило ни в один список.

Я ударилась головой. Потеряла сознание? Но потеря сознания не перемещает человека через Атлантику. Потеря сознания оставляет тебя лежать там, где ты упал, пока кто-то не вызовет скорую. Я не лежала. Я сидела на перроне в Румынии, и мышцы у меня болели от бетонного пола, и это значило, что я просидела тут несколько часов, и это значило, что я сюда пришла, а не прилетела, потому что в аэропорту нет такого перрона. Или я ничего не помню? Я провела ладонью по затылку. Шишка небольшая, чувствительная, при прикосновении отзывалась тупым пульсом. Ничего, что могло бы объяснить провал длиной в океан.

За площадью начинала просыпаться улица. Откуда-то донёсся запах жареного теста и кофе, чужой, незнакомый, с какой-то пряностью, которую я не могла опознать. Голуби обнаружили фонтан и устроились на краю чаши, деловитые и бессмысленные. Небо из серо-синего становилось просто серым, потом молочным, потом в нём обозначился первый неуверенный розовый.

Мне нужен был человек, который говорит по-английски. Это было всё, что я могла сформулировать. Я пошла на запах

кофе. На краю площади стояла женщина с клетчатой сумкой, какие носят на рынок и никуда больше. Тяжёлой, судя по тому, как она тянула плечо вниз. Женщина смотрела на меня без испуга. Без той нервозности, с которой смотрят на чужаков, непонятно откуда взявшихся в шесть утра на пустой площади. Просто смотрела, с любопытством. Будто я была птицей незнакомой породы, которая села на забор, и это интересно, но не страшно. Потом подошла. Сказала что-то порумынски — мягкое, вопросительное. Я не поняла ни слова. Слова были похожи на итальянские и одновременно ни на что. Женщина чуть наклонила голову, посмотрела на меня внимательнее и попробовала снова, на этот раз медленно, с паузами между слогами, как будто замедление темпа могло помочь мне понять язык, которого я не знаю. Не помогло. Тогда она спросила иначе, с тяжёлым акцентом, голосом человека, который выучил несколько слов давно и не пользовался ими с тех пор:

— Ты потерялась?

Я открыла рот. Закрыла. Думала, что скажу, и не находила ничего, что было бы правдой и одновременно звучало бы разумно. «Я не потерялась, меня в принципе не было здесь, а потом я была.» Это не объяснение. «Я не знаю, как попала в вашу страну, у меня нет документов и телефона, и я понятия не имею, что со мной произошло.» Тоже не то.

— Да, — сказала я наконец. Это была правда, хотя и не вся. Может быть, самая точная её часть.

Женщина кивнула без удивления, без дополнительных вопросов. Она поправила сумку на плече и жестом показала «за мной». Я пошла. Не то, что бы я ей доверяла. У меня в принципе на это не было ресурса, ведь это требует какой-то внутренней работы, оценки, взвешивания. Я шла, потому что альтернативой было остаться на незнакомой площади одной. И ещё от неё пахло хлебом. Свежим, чуть дрожжевым. И чем-то ещё травяным, смолистым, как в аптеке, только приятнее. Этот запах был таким домашним, что я пошла за ним, как идут на запах кофе, когда долго не ели. Она шла быстро для своего возраста. Я плелась следом, и у меня гудели щиколотки.

Дом был в пяти минутах ходьбы, в переулке, который я бы не нашла сама. Он уходил в сторону от любой логичной траектории. Небольшой, одноэтажный, с деревянными ставнями, покрашенными в тёмно-зелёный, который давно облупился по краям. На подоконниках за стеклом пучки сухих трав, связанные бечёвкой: что-то серое, что-то бурое, тёмные стебли с жёсткими листьями. Внутри низкие потолки. Я вошла и сразу почувствовала: пространство сжалось вокруг меня, стало соразмерным.

Тепло. Дерево. Тот же запах трав, но плотнее. Женщина поставила сумку у двери, сняла пальто, повесила. Прошла на кухню, не оборачиваясь на меня. Щёлкнул чайник. Я осталась стоять. Смотрела, как привычно она передвигается по кухне, не думая, каждое движение знает своё место. Доста-

ла кружку. Потом вторую. Хлеб из хлебницы, нож, масло из холодильника в маленькой керамической миске. Я не знала, куда себя деть, поэтому села за стол. Деревянный, с царапинами, которым много лет. Я положила на него руки и почувствовала под ладонями шершавую фактуру, чуть неровную. Это было первое за несколько часов, что я трогала намеренно. До этого я только касалась всего случайно — стена, когда теряла равновесие, асфальт.

Женщина поставила передо мной кружку и хлеб с маслом. Хлеб был нарезан толстыми ломтями, масло лежало неровно, с бороздками от ножа.

— Меня зовут Анна, — сказала женщина и влила в две кружки чай из заварочного маленького чайничка, а следом немного кипятка.

Чай был тёмным, почти коричневым. Пах чем-то незнакомым — не мятой, не ромашкой. Чем-то более серьёзным. Женщина не садилась. Стояла у стола и смотрела на меня. Долго, без неловкости, это была не та пауза, которую надо заполнять. Она смотрела так, как смотрят на что-то, что узнают, но не ожидали увидеть здесь. Я держала кружку двумя руками. Тепло проходило сквозь фарфор прямо в ладони.

— Ты похожа на мою сестру, — сказала она тихо. Почти себе. Не мне.

Я не знала, что с этим делать. Не знала, жива ли сестра, стоит ли спрашивать, хочет ли она ответа вообще. Не знала, должна ли я что-то сказать или молчание здесь правильное

слов, поэтому я просто держала кружку. Смотрела на поднимающийся пар.

— Ты откуда? — спросила Анна.

— Нью-Йорк.

Анна кивнула, как будто это ей что-то объяснило. Может, так и было.

— Слышала, — сказала она. — Большой город.

— Да.

Над плитой мерно постукивала труба отопления. За окном было всё то же утро — бледное, медленное, с мокрыми ветками, вдавленными в серое небо. Я сжала кружку обеими руками. Фарфор грел ровно, терпеливо, как живое.

— Как ты здесь оказалась? — Анна спрашивала без интонации, которая предполагала бы ответ. Просто спрашивала. — Одна. Без вещей.

Я открыла рот. Пауза получилась длиннее, чем нужно. Я действительно не знала, как объяснить. Внутри было что-то вроде фразы, но фраза не складывалась в синтаксис, который звучал бы нормально. «Я упала. В аэропорту. И потом оказалась здесь.» Даже мысленно это звучало так, как звучат сны, когда пересказываешь их вслух и видишь, как они рассыпаются.

— Я упала, — сказала я. — В аэропорту. В Нью-Йорке. Ударилась головой. А потом... — я остановилась, потому что дальше шла та часть, которая не работала. — Потом я проснулась здесь. На перроне.

Я почти ждала, что Анна переспросит. Или встанет, или возьмётся за телефон, или скажет что-нибудь вроде «это не так работает», потому что это действительно не так работает, это я и сама понимала — физика, расстояния, атлас, в котором Нью-Йорк и Румыния разделены восемью часовыми поясами и зеркальным отражением времени суток. Анна не сделала ничего из этого. Она смотрела на меня. Не с недоверием, с чем-то другим, что я не могла сразу опознать. Что-то старое в этом взгляде, как будто Анна знала эту историю раньше или что-то, на неё похожее. Как будто ей не нужно было, чтобы история складывалась в логику.

— Бывает, — сказала она просто, без продолжения.

Я сидела и ждала. Ждала, когда Анна достанет телефон. Когда скажет «я вызову полицию» или хотя бы «я вызову скорую, у тебя разбита голова». Я не хотела полиции. Не хотела скорой. Не хотела объяснять то, чего не понимала сама дежурному в форме, женщине с планшетом, кому угодно, кому нужны были бы факты, документы, версия происходящего, которую можно было бы записать в бланк. У меня не было версии. У меня было только: упала, ударилась, проснулась здесь.

Хлеб с маслом на тарелке всё ещё лежал. Я взяла ломоть и откусила. Хлеб был домашний, с кисловатым запахом закваски, и масло лежало неровным слоем, чуть больше у краёв. Я жевала и смотрела на мокрые ветки за стеклом.

— Я знаю одного человека, — сказала Анна через ка-

кое-то время.— Он понимает такие вещи.

Я подняла взгляд.

— Какие вещи? — спросила я.

Анна помолчала секунду. Взяла свою кружку, подержала в руках.

— Такие, как твои.

Я хотела спросить, что это значит. Что значит «такие, как твои»? Это что, часто бывает? Есть специальные люди, которые понимают, как человек оказывается на румынском перроне из нью-йоркского аэропорта? Это клуб? Есть брошюра? Но я не спросила. Отчасти потому что слишком устала для иронии, которая требовала бы усилий. Отчасти потому что Анна сказала это без нажима, без обещания, без интонации рекламы или угрозы, так что вопросы казались лишними.

Я кивнула. Откусила ещё хлеб. За окном по мокрой улице прошла рыжая собака, без ошейника, с видом существа, у которого есть по этому поводу собственное мнение. Остановилась, посмотрела куда-то вбок и пошла дальше. Мы смотрели ей вслед, пока та не скрылась за углом.

Анна вытащила телефон из кармана домашнего платья и без предупреждения ушла, не сразу, а постепенно, как уходит шум: сначала её голос стал тише, потом она переместилась в сторону коридора, потом скрипнула дверь в соседней комнате, и там возникло приглушённое бормотание, слов не разобрать, но интонация понятна без перевода. Кто-то там, на другом конце, брал трубку. Я осталась за столом одна. На

скатерти рисунок из мелких цветков, выцветший почти до белого. В центре стоит кружка с чаем, который я уже не пила. Пар над ней давно осел. Я смотрела на свои руки, лежащие перед собой как чужое имущество. Правая ладонь. Не глубокая ссадина шла от основания указательного пальца к запястью, кожа содрана неровно, как бывает от шершавой поверхности. От бетона, должно быть. Но я не помню, когда это случилось. Не было ни вскрика, ни осознания. Просто ладонь знает что-то, чего я не знаю. Тело вело свои записи отдельно от меня. Я сидела и смотрела на ссадину и думала: значит, вот так это устроено. Где-то в той темноте моя правая ладонь нашла бетон и запомнила. А я нет.

Из соседней комнаты доносился голос Анны. Она говорила по-румынски, и я не понимала ни слова, но слышала, как она произносит что-то несколько раз подряд, настойчиво и мягко одновременно. Объясняет кому-то. Убеждает. Голос пожилой женщины, которая привыкла брать на себя чужие обстоятельства.

толок был белёным, с трещиной. Трещина шла от угла у окна к центру и там разветвлялась — тонко, как линии на карте несуществующей страны. Я смотрела на неё несколько секунд, и в голове не было ничего. Совсем ничего. Ни имени, ни города, ни дня недели. Только потолок, трещина и запах дерева, чего-то сухого и немного горьковатого, будто в комнате часто сушили траву. Потом я моргнула. Шишка на за-

тылке дала о себе знать раньше, чем что-либо другое. Тупая пульсирующая точка, горячая изнутри, — и я инстинктивно попыталась поднять правую руку, чтобы её потрогать, и ладонь саднула о простыню. Грубая ткань, почти льняная. Кожа отозвалась резко, как бывает, когда задеваешь свежую ссадину. Вот тогда вернулись воспоминания. Не все сразу, кусками, без порядка. Перрон. Мокрый бетон. Женщина по имени Анна в тёмном пальто, которая смотрела на меня без удивления, как будто уже знала, что я там окажусь. Кровать, в которую я легла не раздеваясь, потому что не было сил думать о том, как это — раздеваться в чужом доме. Я лежала и не двигалась. За окном было светло, даже слишком ярко. Судя по всему, я проспала несколько часов, и, если честно, вставать совсем не хотелось. Занавеска в мелкий цветок трепалась на ветру от открытого окна. Деревянная рама окна рассохлась в одном углу и чуть выступала наружу. На стуле у стены лежала сложенная одежда, что-то светлое сверху, тёмное снизу, аккуратно, как в гостинице, только без карточки «добро пожаловать». Чужая одежда. Для меня. Я подумала о том, что кто-то заботливо сложил для меня одежду на стул, и ничего не почувствовала. Ни тепла, ни неловкости, ни той особой уязвимости, которая бывает, когда тебя жалеют. Не чувствовать ничего было странно. Я пробовала нащупать что-нибудь внутри: страх? облегчение? хотя бы растерянность? Было что-то похожее на пустоту после долгого перелёта, когда сидишь в кресле уже после посадки, двига-

тели стихли, а тело ещё не поняло, что можно отпустить. Такое подвешенное состояние между «было» и «будет», в котором нет ни прошлого, ни будущего, только этот белёный потолок и трещина, которая разветвляется в центре. Нью-Йорк казался чем-то, что я видела в кино. Аэропорт, рукав с пилинующимся поручнем, Леон рядом — всё это было похоже на воспоминание из чужой жизни, плохо наклеенное поверх моей. Я не могла вспомнить, чего хотела, пока стояла там. Наверное, ничего. Наверное, я никогда особо ничего не хотела, и это была не трагедия — просто особенность, как нелюбовь к кинзе или неспособность запоминать имена.

Я осторожно повернула голову. Шишка нашла твёрдую точку в подушке и отозвалась тупой болью, от которой на секунду потемнело в глазах. Я замерла. Подождала. Потолок вернулся на место.

Комната была небольшой, я поняла это только сейчас, когда позволила себе её рассмотреть. Кровать, стул, маленький комод с ящиками, в которых наверняка лежало что-то давно не нужное. На комодe фотография в рамке, но отсюда не разглядеть. Крашенные половицы, тёмно-коричневые, с белёсыми разводами от многократного мытья. Никакого телефона. Никаких документов. Я была в Румынии. Это всё ещё не укладывалось ни во что внятное. Просто слово: Румыния. Страна на карте, которую я никогда особо не думала посещать.

А потом из-за двери донёсся звук. Что-то шипело на ско-

вороде, не громко, а ровно, обыденно, как шипит масло под яичницей или лук. Потом деревянный стул по деревянному полу, с тем характерным скрежетом, который бывает только в старых домах, где мебель уже притёрлась к полу и всё равно скользит. Потом тишина. Потом снова сковорода. Я лежала и слушала эти звуки, и в них было что-то почти успокаивающее не потому что я знала этого человека или доверяла ему, а просто потому что там был кто-то живой, кто делал обычные домашние вещи. Кто-то двигал стул и смотрел на сковороду и, вероятно, думал о том, достаточно ли там масла.

Я медленно, стараясь не тревожить затылок, перевела взгляд обратно на потолок. Трещина разветвлялась в центре на три части, и самая тонкая из них почти достигала маленькой люстры с одним плафоном в форме тюльпана, давно невымытым. Снизу снова донёлся запах. Теперь я его опознала: кофе. Не растворимый, не из капсулы, что-то плотнее, гуще, с горьковатым дымным хвостом, который поднимается только от турки.

Я осторожно встала с постели и взяла в руки одежду, сложенную специально для меня. Брюки были холодными, потому что ткань ещё не согрелась. Я стояла посреди чужой спальни и смотрела на них в руках: льняные, бледно-серые, на два размера больше. Пояс я собрала и закрутила узлом сбоку, как в лагере, куда меня отправляли в двенадцать лет, где все вещи были чужими и чуть великоватыми.

Свитер лежал на спинке стула. Я натянула его через голо-

ву и на секунду задержалась так, не выходя лицом из горловины, в темноте под шерстью пахло лавандой и ещё чем-то, что я не смогла назвать. Что-то между хозяйственным мылом и воском, может быть, от свечей, или просто от долгого хранения в шкафу.

Я вышла из комнаты. Кухня была маленькой, ниже, чем я думала, с потолком, который нависал почти как крышка. Над окном висели пучки сухих трав, связанные суровой нитью: ромашка, что-то тёмное и смолистое, ещё что-то, чего я не знала. Медные кастрюли на крюках вдоль одной стены, потемневшие у основания, начищенные сверху так сильно, что в них отражалась вся комната. На подоконнике три горшка с геранью — два с красными цветками, один уже отцвёл, и между ними треснутая чашка без блюдца. Трещина шла от края до дна наискосок, как будто чашка однажды решила расколоться, но передумала на середине.

Анна стояла у плиты спиной ко мне. Помешивала что-то длинной деревянной ложкой медленно, без суеты. Она что-то говорила негромко, я поняла, что это по-румынски, до того, как осознала, что не понимаю слов. Потом Анна чуть повернула голову, не оборачиваясь полностью, и перешла на английский:

— Садись. Кофе готов.

Стул подо мной скрипнул ровно так, как должен был скрипнуть деревянный стул в доме пожилой женщины в Румынии. Мне стало смешно, не вслух, просто лёгкое тепло

где-то за рёбрами. Я и представить не могла, что у меня сейчас получится смеяться, даже внутренне.

Кофе Анна поставила передо мной в маленькой чашке без ручки. Густой, почти чёрный, с тёмным осадком на дне, который я увидела, когда подняла чашку к свету. Я взяла её двумя руками, потому что так было теплее, и ладони наконец перестали мёрзнуть.

За окном был холм. Несколько домов на склоне: белые стены, рыжая черепица. Анна налила себе кофе и села напротив. Мы молчим. Молчание здесь не давит. Я заметила это через минуту или две, заметила именно потому, что ждала давления, а его не было. На моей работе любое молчание было неловким: его нужно было немедленно чем-то заполнить — кашлем, вопросом, звуком клавиатуры. Здесь молчание просто занимало своё место за столом, как третий человек, которого все знают и не считают нужным представлять.

Анна держала чашку обеими руками так же, как я. Я посмотрела на её руки. Тёмные, в венах, с короткими ногтями. На безымянном пальце левой руки кольцо, простое, без камня, потёртое до белизны с одной стороны.

Кофе был горьким и плотным, как земля. Я выпила его маленькими глотками и не отставила чашку, когда допила, просто держала её в руках, пока та не остыла. Тарелка опустилась передо мной почти без звука. Самый тихий фарфоровый щелчок, как точка в конце фразы. Яичница, поверх которой было нарублено что-то зелёное, укроп, кажется, или

петрушка, отсюда не разобрать, и два ломтя хлеба, намазанных маслом так щедро, что масло уже начало подтаивать по краям. Я взяла вилку.

— Как спалось? — спросила Анна.

— Нормально, — сказала я.

Поддела кусочек яичницы, положила в рот. Яйцо было хорошо пересолено, в меру, как люблю я сама, хотя никогда не думала об этом как о предпочтении.

— Нормально, — повторила я, и сама не поняла, зачем.

— Лучше, чем я ожидала.

Анна кивнула, как будто это было именно то, что она хотела услышать. Не больше.

За окном что-то скрипнуло — ветер в ветках, или ставня, или это просто был дом, который дышал по-своему. Свет лежал на столешнице полосой, чуть пыльной, живой. Я смотрела, как в этой полосе висит крошечная пылинка, совершенно неподвижная, и думала о том, что уже не помню, когда последний раз завтракала не стоя. В Нью-Йорке я ела над раковиной, или прямо в пальто у открытого холодильника, или вовсе не ела, потому что забывала. Здесь я сидела. Это было странно в хорошем смысле.

— У меня была сестра, — сказала Анна. Просто так. Без вступления, без «кстати» или «знаешь». Как продолжение разговора, который мы, оказывается, уже вели.

— Мария. Три года назад умерла.

Я подняла глаза. Анна смотрела куда-то мимо меня — не

в окно, не в стену, а чуть вбок.

— Извините, — сказала я, потому что не нашла ничего лучше.

— Не нужно, — отозвалась Анна ровно. — Это давно. Уже не болит так.

Она произнесла это без нажима, не убеждая, не утешая, просто констатируя. Факт, который когда-то был раной, а теперь стал просто частью рельефа. Я вдруг подумала, что завидую этому. Не потере, потере я не завидовала. Но вот этому умению нести что-то тяжёлое, не делая из этого события.

— Ты мне её немного напоминаешь, — добавила Анна.

Я опустила вилку.

— Не внешностью. — Анна наконец посмотрела прямо на меня. — Как ты смотришь. Вот так — как будто видишь всё, но не знаешь ещё, что с этим делать.

Я не нашлась, что сказать. Открыла рот, закрыла. Перевела взгляд вниз, на свои руки вокруг чашки, на ссадину по правой ладони, уже подсохшую, уже начавшую стягиваться кожей. Пальцы были бледные, немного отёкшие после сна, как всегда. Никто никогда не говорил мне ничего подобного. Леон говорил «ты красивая», иногда, когда хотел что-то смягчить или, когда сам чувствовал себя виноватым. Говорил «ты умная», но это звучало как аргумент в споре, а не как то, что он действительно думал. О том, как я смотрю — никогда. О том, что я кого-то напоминаю — тем более. Леон, кажется, вообще не думал обо мне в таких категориях.

Тишина была долгой. Анна её не заполняла, просто сидела, сложив руки. Я взяла хлеб, откусила кусок. Масло было настоящее — не то безвкусное, что я покупала в «Треjder Джо» по привычке. Плотное, чуть солёное. Я дожевала и посмотрела на свои руки.

Анна встала и начала убирать посуду со стола. Звуки были домашние, почти неудобные в своей точности: тарелка о тарелку, кран, вода, снова кран. Скрип половицы у раковины. Анна не торопила. Она вообще, кажется, не умела торопить, двигалась по кухне так, будто никакого другого ритма кроме её собственного здесь никогда не существовало и существовать не могло. Я не уходила от стола. Отчасти потому, что не знала, куда. Отчасти потому, что у меня не было ничего, что обычно создаёт иллюзию срочности: ни телефона, ни кошелька, ни маршрута.

— Я была в аэропорту, — сказала я, как-то слишком тихо. — Упала. Ударилась головой. — Я остановилась. — А потом оказалась здесь.

Анна не пошевелилась. Смотрела в окно.

— Я не знаю, что между этим было, — сказала я. — Вообще. Там ничего нет. Я не понимаю, что со мной происходит.

Последнее предложение вышло само. Я не планировала его говорить, оно просто вышло, и я услышала его снаружи, чужими ушами, и поняла, что это первый раз, когда я это сказала вслух. Я ждала чего-нибудь. Вопросы, предположения, осторожного «может, ты потеряла сознание, и кто-то те-

бя нашёл, довёз» — чего угодно рационального, во что я могла бы вцепиться хотя бы на время. Анна кивнула. Медленно. Один раз. Будто услышала то, что уже приблизительно знала. Она не переспросила. Не удивилась. Не сказала «это невозможно» или «ты, наверное, просто не помнишь». Просто кивнула, и снова посмотрела в окно.

Я подождала, что станет легче. Что слова, которые я наконец произнесла вслух, что-нибудь изменят внутри. Освободят место, как открытая форточка. Что-нибудь такое. Легче не стало. Но что-то всё-таки сдвинулось — маленькое, почти незаметное, где-то в районе груди. Как будто я несла сумку на плече, долго несла, уже привыкла к её весу и перестала замечать, и вот наконец поставила на пол на минуту.

— Александр поймёт, — сказала Анна. — Он понимает такие вещи.

«Такие вещи» висело в воздухе отдельно от остального предложения. Я не спросила, что она имеет в виду. У меня не нашлось сил и желания спрашивать. Или, может, я уже знала, что ответа, который что-то объяснит, сейчас всё равно не будет.

Анна положила телефон на стол — обычный, с трещиной по углу экрана, в сером чехле, и кивнула в его сторону так, будто предлагала солонку.

— Позвони домой, — сказала она. — Пусть не беспокоятся.

Я взяла трубку. Она была чуть тёплая — Анна незадолго

до этого держала её в руке. Экран засветился, запросил пин, я поднесла его ближе к лицу и поняла, что не знаю, что именно скажу, когда Леон возьмёт трубку. Дело не в том, что мне нечего ему сказать. Слова были. «Я в порядке. Я в Румынии. Нет, я не знаю, как». Можно было даже сложить их в предложения. Проблема была в другом — в том, что за словами должна была стоять какая-то тяга, желание, чтобы он услышал, а её не было. Было только молчание там, где раньше я привыкла не замечать, что молчание вообще есть.

— Чуть позже, — сказала я.

Она не кивнула и не спросила почему. Просто повернулась к плите. Я была ей за это благодарна.

За окном был холм. Я смотрела на него уже несколько минут: трава, примятая где-то у подножия, и дерево с голыми ещё ветками, ранняя весна или поздняя осень, отсюда не разберёшь. Небо было белым. Не красивым белым — просто белым, как чистый лист, на котором ещё ничего не написано.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.